



## ТРЕУГОЛЬНАЯ МАСКА

Я прочитала Вашу книгу «Ураган». Вы рассказали о том, как разбитую барку выбросило на скалистый берег и чудом уцелевшие матросы своими телами в мороз и в снег согревали оказавшуюся на борту мать с ребенком. Матросы погибли. Женщина и ее ребенок были спасены. Я никогда не обращалась к писателям. Меня потрясли Ваши слова о том, что, умирая, люди оставляют память о себе и тепло свое.

Они уходят, передавая нам свои имена. Я тоже хочу рассказать Вам один случай, чтобы почувствовать облегчение на душе, что поведала о людях, которые оставили мне свое тепло и подарили жизнь.

Все началось с того, что я потеряла сознание. Самолет проваливался в какую-то пропасть. Это я помню. Я почувствовала, как сердце выскакивает из груди, и ощутила тошноту. У армян это ощущение передается словами «сердце перемешивается» или «выворачивается». Очень точное определение. Когда мы провалились в воздушную пропасть, сердце и впрямь выворачивалось наизнанку. Помню, что я изо всех сил прижимала к себе мою трехлетнюю дочь. Не отпускала ее и после того, как потеряла сознание. Сколько длилось это состояние, сказать не могу.

Очнулась я от плача ребенка. Моя дочь лежала у меня на груди и неистово кричала. Я попробовала двинуть рукой, но нестерпимая боль пронзила все тело. Было невыносимо трудно повернуть голову, болела шея, и невероятная тяжесть чувствовалась во всем теле. Я обратила внимание, что не сижу, а лежу в кресле, привязанная к нему; и еще меня поразило, что кабина летчиков находилась над головой, словно самолет оказался в вертикальном положении. В салоне было очень темно, и с трудом различимы были окна иллюминаторов. Я попыталась двигаться и не смогла. Все происходило словно во сне. Но я должна была двигаться, ведь плакал мой ребенок. Попыталась что-то предпринять, но мешал ремень, и я никак не могла от-

стегнуть его. Болели голова, шея, спина. Разумом я осознавала, что произошло что-то ужасное, но что — я не могла понять. Одно я понимала — жив ребенок и жива я и надо успокоить девочку. Наконец, после многих попыток мне удалось расстегнуть ремень. Превозмогая боль в шее, я повернула голову и взглянула в иллюминатор. Трудно сразу было понять, что там, за ним, но увиденное ужаснуло меня — за окном иллюминатора плавали рыбы. Они двигались стаями. И вдруг ужас всего происшедшего дошел до меня: самолет упал в море. Мне захотелось кричать, и я, видимо, крикнула. Я не помню этого. Помню только, как неожиданно, прямо над головой, открылась дверца и в ее проеме показался летчик. Он осторожно, словно по лестнице, спустился к нам и что-то говорил. Но что, я не слышала. Я не слышала потому, что у меня вконец заложило уши. Видимо, он понял все это и принялся помогать нам. Он попробовал было поднять нас обеих, но это оказалось делом трудным. Тогда он бережно взял ребенка на руки, и, я почувствовала это, дочка перестала плакать. Внезапная глухота поразила меня. Летчик продолжал что-то говорить, и по его движениям я догадалась, что он предлагает мне попытаться подняться и следовать за ним. Я попробовала приподняться, и вскоре мне удалось это. Теперь я могла осмотреться. Я оглянулась и от увиденного в страхе закрыла глаза. Под ногами была вода. Она затопила салон и людей. Их тела, привязанные к креслам, я видела ясно. В живых в салоне остались только я и моя трехлетняя дочь Наира.

Значит, мы упали в воду. Значит, самолет наш на дне — хвостом вниз. Отсюда и ощущение, что он почти вертикально взмывает ввысь. Меня ведь не покидало чувство, что мы летим. И то, что я увидела за окном иллюминатора, не сразу помогло понять реальность происходящего. Меня вновь затошнило. В глазах помутилось. Летчик уже скрылся за дверью вместе с Наирой. Преодолев боль, я встала и принялась пробираться вслед за ними.

В кабине пилотов было намного светлее. Мы находились под стеклянным колпаком. Стаи рыб носились вокруг. Я боялась перевести взгляд на кресла, находящиеся над головой чуть впереди. Один из пилотов лежал рядом с креслом. Лицо его было в крови, и поза была нелепой. Я догадалась — он был мертв. В другом, центральном, кресле лежал еще один пилот. Я видела его седые, коротко подстриженные волосы. Он с трудом повернул голову, посмотрел на меня и заставил себя улыбнуть-

ся. Это мне запомнилось на всю жизнь. Так же медленно он отвел взгляд. Теперь я не видела его лица, но его улыбка оставалась в памяти. Было нечто успокаивающее в ней. Как позже выяснилось, он лежал с перебитым позвоночником, и ему невысказанно трудно было делать какое-либо движение. В кресле рядом сидел тот самый летчик, который взял к себе ребенка. Он взглянул на меня и предложил мне сесть. Я устроилась в крайнем правом кресле. Хотела было взять дочь, но он не дал ее. Тихо сказал, что, мол, жалко девочку, пусть поспит. Если я не успела разглядеть пилота с коротко подстриженными седыми волосами, то соседа моего я видела хорошо. Это был совсем еще молодой парень. Курчавые взъерошенные волосы. Белое лицо и черные усы. Он молча смотрел в лицо спящей у него на руках Наирочки. Потом взглянул на меня, улыбнулся и сказал:

— Меня зовут Гургеном.

— А я Нора, — сказала я.

— Командира нашего зовут Размиком. Впрочем, командир остается командиром. Так что его величают Размиком Гайковичем.

— Здесь-то хоть соблюдайте традиции предков, — тихо сказал командир. — У нас ведь достаточно и одного имени.

— Я могу узнать, — спросила я, — что случилось с нами?

— Трудно сказать, — ответил Гурген, — пожар был.

— Как — пожар?

— Пожар. Такое бывает не только на земле. Минута-другая — и мы могли бы взорваться в воздухе. Вот командир и решил тушить огонь, направив самолет в пике. Когда вы хотите погасить спичку в руках, что вы делаете?

— Машу рукой.

— Вот и мы, так сказать, помахали крыльями. Пожар потушили, но подняться ввысь не хватило высоты. Хвостом задела воду. Хотя командир сделал все, что...

— Хватит, Гурген, — перебил его Размик, — поговорите о чем-нибудь другом.

— Хорошо, командир. Поговорим о чем-нибудь другом.

— Я согласна. Размик, что мы будем делать?

— Ждать, — коротко и как-то строго ответил Размик.

— Чего ждать?

— Возьми себя в руки, Нора. Сама знаешь, что ты не одна. У нас нет другого выхода. Только ждать.

— Нас сейчас ищут?

— Непременно.

— Хотела узнать: а вода... она не поднимется?

— Нет, — быстро ответил Размик, — не поднимется. Воздух не даст. Воздушный пузырь не даст. Мы как раз и находимся в этом пузыре.

Заплакал ребенок. Я потребовала его к себе и взяла на руки. Гурген помог нам устроиться в кресле. Я обратила внимание, что дочь очень бледная. «Еще бы, — говорила я себе, — ведь мы в пузыре. Воздуха, а вернее, кислорода с каждой минутой становится все меньше». Именно так все и было. Именно поэтому и был таким сонливым ребенок. Наира плакала и через некоторое время засыпала. Я видела, как постепенно у нее закрываются глаза. Закрывались и у меня глаза, но я очень боялась уснуть. Мне казалось, что если я закрою глаза и засну, то никогда не проснусь. И я крепилась. Через силу стала разглядывать многочисленные приборы на щитах. Читала слова, цифры, разбирала буквы, которые трудно было понять. Разглядывала ручку, на которой было написано: «Тянуть на себя». Она была покрашена в полосатый цвет, и мне почему-то подумалось о зебре, которую я давным-давно видела в зоопарке.

Розовые, зеленоватые... Перед глазами проходил пестрый ряд приборов. Все-таки очень хотелось спать, и я не замечала, как на мгновение сон овладевал мной. Я словно проваливалась куда-то, вздрагивала и просыпалась, вновь разглядывая цифры и щитки с приборами. Неожиданно я услышала свое имя. Говорил Размик.

— Да, я слушаю, — отозвалась я.

— Так долго молчать не надо, — произнес он.

— Командир, как спина? — спросил Гурген.

— А вот на такие вопросы не стоит тратить кислород, — ответил Размик.

— Хорошо, — произнес Гурген и повернулся ко мне: — Нора, расскажи о себе. Молчать сейчас действительно нельзя.

— Да чего там рассказывать... — отозвалась я. — Муж мой однажды в автобиографии для отдела кадров написал всего одну фразу: «Родился, недоучился, чудом выжил».

— А кто твой муж? — спросил Гурген, улыбаясь.

— Зовут его Гайк. Он шофер. Мечтал иметь трех сыновей, да вот дочь родилась. И назвали ее Наирой.

— А почему ты это говоришь в прошедшем времени — «мечтал»? Все еще впереди, — сказал Размик.

— Говорят, когда кто-то очень хочет сына, то у него рождается дочь, — сказал Гурген.

— А ты слушай тех, кто говорит... Этак вообще ни у кого сын не родится. Все ведь только и знают, что мечтают о сыновьях. А потом, когда родится дочь, отцы по поводу и без повода твердят: «Мою дочь не променяю на десять мальчиков».

— Мечту эту, конечно, осуществить можно. Да вот у Гайка моего не все ладится с матерью моей.

— Что это? — спросил Размик.

— Он никаких институтов и техникумов не кончал. Хороший шофер. Весь дом у нас в грамотах да дипломах. А моя мать, как заведенная, твердит одно и то же: «Для меня зять без диплома — это позор один». Так и говорит ему. Уж сколько раз мы из-за этого с ней ссорились.

— Значит, за мужа заступаетесь?

— Бывает, что в порыве и на него накричишь. Хотя, конечно же, сознаешь, что не права. А он молчит. Или, когда вконец обидится, уйдет к друзьям.

— А какое образование у матери?

— Она у меня хорошая, добрая. Только вот вбила себе в голову эту мысль о дипломе. Может, потому и вбила, что у самой всего три класса образования. Она давно, еще до войны, окончила их в арташатской школе.

— Ну, а Гайк? Он что, наотрез отказывается просьбу тещи уважить?

— Гайк у меня хоть и пишет в автобиографии, что недоучился, но человек очень развитой, любит за книгой посидеть, а что касается газет, так он их все читает. У нас в доме благодаря ему собралась приличная библиотека. Гайк всегда говорит о том, что многие, получив диплом, в какой-то степени начинают страдать комплексом неполноценности.

— Это почему же?

— Ну, он говорит, что, получив диплом, многие и не думают о том, чтобы вновь сесть за руль и работать шофером. А он очень любит свою профессию. Меня мать все же заставила поступить в университет, да вот дочка родилась — пришлось взять академический...

— А ты не боишься, — сказал Размик, — получишь диплом — и вдруг между вами пропасть образуется. Бывает же так. Кто-то кончает в семье институт, и эта самая пропасть и образуется.

— Нет. Если я это почувствую, я диплом сожгу. Я люблю моего Гайка...

— А как же мать?

— Видите ли, Размик, — глубоко вздохнула я, — мы уже привыкли к этой ее идее. Да и Гайк тоже хорошо знает мою маму и понимает ее. Но дело доходит до смешного. Она, например, запрещает Гайку приезжать к ней в деревню на своем трамсе. Она ведь всем соседям совсем другое говорила, и они уверены, что у нее зять — инженер.

— Да, теща с характером! — сказал Гурген.

— Оба они с характером, а я из-за этого страдаю. Но я не жалею.

Словно сговорившись, все трое зевнули. Наступила длительная пауза. Я вновь почувствовала, как закрываются глаза. И опять, чтобы не заснуть, всматривалась в приборы. Я читала слова, не вдумываясь в их смысл: «Спуск», «Маркер», «Посадка», «Отключение автопилота»... Закрывала глаза и повторяла про себя названия. Открывала и вновь читала...

Удивительно, но приступ страха прошел. Дочь спала, но бледность личика бросалась в глаза. Я все поражалась, почему страх исчез... Потом поняла: это не оттого вовсе, что чувства мои притупились, — просто я каждую секунду осознавала, что рядом находятся Размик и Гурген. И я тогда даже подумала: какой мы, бабы, глупый народ! Ведь если мы бываем спокойны на этой земле, то только потому, что ощущаем спокойствие наших мужчин. Тогда же я подумала, что поэты и мудрецы во все времена явно подыгрывали женщинам, упорно превознося их до небес. Я, конечно, ничего против этого не имею. Не думайте, что кокетничаю. Просто убеждена, что они все переигрывали. Каждый из них чуть ли не считал своим долгом сказать прекрасные слова о женщине. И, произнеся их в стихах или поэмах, обесмертили свое имя. Чего лукавить, ведь многие открытия и ученые книги, написанные серьезными людьми, забыты, а лирика — она сохранилась, она жива, и мы с волнением берем томик стихов того или иного поэта, которого давным-давно нет на этом свете. Но никто не оставил таких вот бессмертных строк о мужчинах, разве что время сохранило верное сравнение, найденное в древности женщинами: за мужчиной как за каменной стеной.

Почувствовав, что слишком уж затянулась пауза, я сказала, обращаясь сразу к двоим:

— А ведь это нечестно: заставили меня рассказать о себе, сами же молчите.

— Пусть Гурген расскажет о себе, — поддержал меня Размик.

— Правильнее будет, если начнете вы, командир. Как говорится, по старшинству.

— А что мне начинать... Мне и вспоминать-то нечего. Летать начал сразу после школы. А в детстве только и знал, что мечтал о небе. Вот и вся моя жизнь.

— А сколько у вас детей? — спросила я.

— Двое.

— Мальчики? Девочки?

— Сын и дочка. Сын — школьник, а дочка — студентка.

— Наверное, оба похожи на вас? Кто из них больше похож?

— Дочь у меня неродная...

— Как так? — с удивлением спросил Гурген. — Сто лет летаем вместе, и впервые слышу об этом.

— А зачем об этом слышать?

— Может, не надо продолжать, Размик? — сказала я.

— Да ничего. Моя первая жена бросила меня. Не выдержала, что я часто в полетах, не выдержала, так сказать, летной биографии и бросила. Чего и говорить, я страдал. Переживал. Места себе не находил. И все от обиды. Это все-таки страшно, когда узнаешь, что жена изменяла. И даже не себя жалеешь, а ее. Как-то отменили полет. Вернулся домой и застал ее с любовником. Никогда не знал, что так спокойно приму подобное. Была, правда, секунда, одна-единственная, когда я хотел было что-то предпринять. Но именно в эту секунду я подумал о стареньких моих родителях. Выскочил на улицу. И у меня была лишь одна мысль: не оглядываться, забыть о доме.

— Ну, а дальше, командир?!

— А дальше... Нашел хорошего человека... Я, оказалось, всю свою жизнь мечтал только об одном... Мечтал о том, чтобы жена была добрым человеком.

— А что такое быть добрым человеком? — спросила я.

— Мать мне как-то рассказывала, что однажды она в ужасе выскочила на балкон, услышав раздающиеся со двора душевнораздирающие крики, визги. Она знала, что там, во дворе, среди играющих детей был и я. И вот она выбежала на балкон и, обнаружив меня в толпе целехоньким, широко улыбнулась. А потом терзала себя всю жизнь, казнила себя за ту самую улыбку. Чужой соседский ребенок попал под машину, и его задавило насмерть. Быть добрым — это значит уметь терзать себя. Доброта никогда не утомляет. И если муж и жена утомляют друг друга, значит, кто-то из них недобрый.

— А разве не может быть, чтобы они оба были недобрыми? — спросила я.

— Лучше, может, чтобы оба были недобрыми. Недобрые как-то пристроятся друг к другу. Поймут друг друга. А когда один недобрый, другой страдает. А ведь страшно, когда человек страдает постоянно. С утра до вечера. Кто-то сказал, что нет иных признаков превосходства, кроме доброты. В общем, со второй женой мне повезло. У нее была четырехлетняя дочь, но я привязался к ней, полюбил. Теперь она моя дочь. Так что у меня и дочь и сын — мое богатство... Да что это все я говорю! Не пора ли Гургену?

— А что Гурген? Я человек неженатый.

— Это тебе не делает чести, — сказал Размик.

— Но ведь, командир, это же не вина моя, а беда моя.

— Глупая игра слов. Ширма.

— Не могу с тобой согласиться, командир, как и не могу позволить себе жениться только потому, что так надо, только потому, что, видите ли, мне надоело самому стирать, самому стирать. Вы вот тут говорили про доброту. А ведь и мне хочется этой самой доброты. И любви, между прочим, хочется. А тут все некогда. Вот если бы красивые и добрые девушки находились не только на земле, а в небе, было бы куда легче...

— Оправдывать, конечно, можно все. Только вот жизнь — это время. И жизнь не принимает больших опозданий. Тебе уже за тридцать, а ты все ходишь бобылем...

— А у тебя есть невеста? — спросила я у Гургена.

— Да как тебе сказать...

— Правду надо сказать, — как-то с задором перебил его Размик, — а правду ты не скажешь. Все выбираешь, выбираешь... Закопался совсем...

— Командир...

— Пощадите Гургена, командир, — сказала я.

— Он всегда вот так, Нора, — сказал Гурген, — не щадит молодежь. Особенно с тех пор, как стал заслуженным пилотом...

— Это ты-то молодежь? А кто же тогда зрелый? Почему-то лишь седовласых старцев называют мудрецами. А призадуматься, все мудрые мысли были высказаны далеко не пожилыми людьми.

— А что такое мудрость, командир? — спросил Гурген.

— Все, что естественно, это и есть мудрость. Например, у человека должны быть дети. Если их нет — это противоестественно.



твенно. И знаешь, тут, как мне кажется, дело не только в продолжении рода. Род уж как-нибудь обойдется без тебя. Высшая мудрость здесь заключается в том, что не только отец воспитывает сына, но и сын воспитывает отца. Если же нет сына, то мужчина постепенно превращается в инфантильного субъекта.

— Размик, не убивайте его, — попыталась я пошутить, — он больше не будет. Он исправится. И вообще он многое успеет. Сейчас ведь люди долго живут.

— Да, люди долго живут. Медики постарались. Только я бы запретил им продлевать жизнь человеческую.

— Это почему же, командир? — спросил Гурген.

— Запретил бы, и всё. А то ведь, я читал, уже мечтают даже о бессмертии. Ты представляешь, ведь вместе с хорошими людьми бессмертными станут и подлецы, и даже анонимщики. Можешь ли себе представить — бессмертный анонимщик?

Мы улыбнулись. И опять вместе сделали несколько глубоких вдохов и выдохов. Нечто кислотоватое было в воздухе.

— Кислород, — сказал Размик.

— Что — кислород? — спросила я, хотя прекрасно понимала, о чем идет речь.

— Ничего, просто надо, наверное, поменьше говорить.

— Вот и хорошо, — сказал Гурген, — а то все шишки на меня летят.

Наступила пауза. И, словно чувствуя в самой этой паузе тревогу, проснулась дочь. Вздохнула и заплакала. Я знала, что это ненадолго, и потому не успокаивала. И действительно, вскоре она умолкла. Я вновь вернулась к занятию, которое меня хоть как-то отвлекало.

Стала вчитываться в надписи на приборах. Одно слово было стерто, и я никак не могла его прочитать. Закрывала глаза, вновь открывала, вглядывалась, но тщетно. Я пробовала гадать. Выходило: «Противообледенит». Но я понимала, что это не так. Остальные слова были написаны четко: «РИО», «стабилизатор», «автопилот». Хотела было спросить, что означает «РИО», да передумала. Все равно ведь не пойму, как не понимаю, что такое «стабилизатор», хотя прекрасно знаю, что означает слово «стабильный».

Но и это занятие не помогло мне. Я чувствовала, что не могу отделаться от мысли о нехватке воздуха. Я же хорошо понимала, что с каждым мгновением его становится все меньше и меньше. И, может, мне было бы куда легче, если бы я вообще

не думала об этом. Именно от сознания того, что в этом крохотном пузыре кислорода становится все меньше, стало тяжелее дышать. Дыхание участилось. Я поглядывала на мужчин. И они тоже дышали часто. Губы у дочурки стали совсем синими. Она тоже дышала часто и прерывисто. Я чувствовала, что это конец. Глаза слипались. В горле першило. Сознание угасало. Хотелось кричать, но я сознавала, что не смогу этого сделать. Неожиданно до моего угасающего сознания донеслось глухое: «Кислород». Говорил Размик. Он словно приказывал. Лишь немного погодя Гурген спросил словно спросонья:

— Что, командир?!

— Кислород! Обеим!

Я не сразу поняла смысл его команды.

Гурген медленно поднялся с места, приблизился к нам. Снял со щита черную маску треугольной формы. И как-то с ходу ловко накрыл ею лицо спящего ребенка. Дочь тотчас же проснулась и стала плакать. Она руками срывала маску. Но Гурген дал мне понять, чтобы я придержала дочку. Маска закрыла чуть ли не все ее лицо. Она стала дышать чаще, глубже и вскоре успокоилась. У нее порозовели щеки, отошла синюшность губ. Ту же процедуру проделал Гурген и со мной. Надел на мое лицо другую маску. Пристроил ее довольно ловко. Подкрутил что-то и пожал мне руку. Так же медленно, почти ползком он добрался до кресла. Вдруг я явно ощутила, как по жилам потекла горячая кровь. Сознание прояснилось. Но от этого мне не стало легче. Я четко видела, что рядом, совсем рядом — ведь в кабине было ужасно тесно — гибли, выручая нас, люди, которые теперь стали мне бесконечно дороги. Мне было больно оттого, что я никак не могу взглянуть в глаза Размика. Я видела по-прежнему лишь его затылок. Сердце обливалось кровью, когда я видела, как тела их конвульсивно дергаются при каждом глубоком вдохе и выдохе. Черные усы Гургена еще резче подчеркивали бледность его лица.

Когда на твоих глазах умирают ставшие тебе близкими и родными люди, тебе кажется, что мир переворачивается. Вначале, когда стало легче дышать, в какое-то мгновение мне подумалось, что им тоже дышится легко. И я даже, помнится, хотела спросить: «А надолго ли хватит кислорода?» Но, вспомнив о маске, я ужаснулась от одной только мысли, что я могла бы спросить об этом. Я всегда знала, что у человека есть его второе «я», есть внутренний голос, но не подозревала, что это вещи столь реальные. Кто-то словно строго и внушительно

отчитал меня. Я не знала, как вести себя. Я не думала о том, что будет через минуту. Я радовалась тому, что дочери стало легче, и мне хотелось только одного — каким-то образом поделиться с мужчинами этим живительным кислородом, но не знала, как это можно сделать. Я думала, что, может, каким-то образом выпущу содержимое баллона и тогда в нашем «пузыре» легче будет дышать, но догадалась, что пользоваться маской можно, только надев ее на лицо. Вдруг я обратила внимание на то, что Размик зашевелился. Мне показалось, что он даже что-то сказал.

— Что, Размик-джан, ты что-то сказал? — спросила я, переходя на «ты».

— Ты только... ни о чем... не думай. — Голос его был глухой, тихий, говорил он с паузами. — Все будет хорошо, Нора. Нам уже даже... лучше. Ведь у вас с дочерью автономное дыхание. Все, что в кабине, — наше... Ты лучше расскажи что-нибудь.

— Размик-джан, я не знаю, о чем говорить. Может, мы по очереди будем дышать через маску?

— Так нельзя, Нора, — на удивление бодро сказал Гурген.

— Он прав, Нора, так нельзя, — добавил Размик. — Ты не думай об этом. Ты лучше рассказывай.

— Размик-джан, Гурген-джан! Вам ведь тоже нужна маска. Возьмите мою. Вам надо подышать кислородом.

— Нельзя, Нора. Нельзя. Если надышишься, после будет еще хуже. Мы помолчим. А ты лучше поговори. Тебе можно. Расскажи... Ну, о муже своем.

— Я уже говорила о нем.

— А ты еще.

Мня почему-то ничуть не удивило и не удивляло, что мы спокойно ведем беседу, вроде бы не забывая о том, что рядом, совсем рядом находятся мертвые. Почему-то казалось, что они спят, что они, я бы сказала, не совсем умерли. И еще: я догадывалась, почему Розали и Гурген заставляют, чтобы я не сникла, не сдавалась. И я послушно согласилась выполнить просьбу.

— Что же рассказать?.. Мужа как-то послали в Горький перегонять машину. Ну, и решила попросить его, чтобы он там купил... неудобно даже говорить... словом, просила, чтобы он купил мне кое-что из женского белья. Он поразился. «Ты что, — говорит, — жена, с ума сошла? Как это я могу покупать женское белье... Вы знаете, мне очень даже нравилось, что он такой. Я знала, что в магазине он проходит мимо этого отдела.

Он мне не раз говорил, что ему неловко глядеть на все это. И вдруг моя просьба. Я сказала и забыла. Он уехал. Мы, конечно, его ждем не дождемся. И так случилось, что уже все сроки вышли, а его нет. Я забеспокоилась. Побежала к нему на работу, но и там ничего неизвестно. И вдруг ко мне приходит его сослуживец — и словно обухом по голове. «Гайка твоего, говорит, посадили. За спекуляцию». Я только крикнула: «Быть этого не может!» — и, оставив ребенка у матери, полетела в Горький. И что же выяснилось? Мой Гайк решил-таки купить белье. Долго крутился в магазине возле нужного отдела, но никак не решался подойти. Потом уговорил какую-то тетку купить ему все, что нужно. И вот когда она передавала Гайку покупку, их задержали. Повели в отделение милиции. Там уже начали было понимать, что к чему, и вдруг кому-то из сотрудников — или дружинник это был, не помню, — вздумалось взять со стола эту самую покупку. Он начал теревить белье. И тут Гайк, как он рассказывал, весь побелел. Он сначала попытался объяснить парню, чтобы тот не трогал своими, как он говорил, лапами женское белье. А тот, как назло, прямо-таки мял его в руках. Ну, и вскочил с места мой Гайк и кинулся на парня. И где только я не была! Теперь в Горьком у меня множество знакомых. И город я полюбила, и людей этого города. И Волгу полюбила. Раньше и не подозревала, что она такая широкая. Словом, ходила-ходила — и отпустили Гайка. Поняли, что никакой он не хулиган. Отпустили с какими-то условиями. Но по мне хоть как, лишь бы он был с нами... Вот такая история приключилась.

Я замолчала.

Немного погодя Гурген медленно повернулся ко мне. На лице его было некое подобие улыбки, глаза едва открыты.

— Почему молчишь, Нора? — тихо спросил Размик.

— Гурген, тебе плохо? — спросила я.

Он покачал головой и попытался было приоткрыть веки. И я заметила, как у него закатываются глаза. Я не выдержала и закричала. Ребенок всхлипнул и умолк. Неожиданно раздался голос Гургена:

— Не смей!

Я испугалась еще больше.

— Что случилось? — спросил спокойно Размик, как и прежде не поворачивая головы.

— Ничего, командир, просто я хотел сказать Норе, чтобы она не смела прерывать свой рассказ.

— Правда, Нора, расскажи еще о чем-нибудь, — сказал Размик, и я увидела, как голова его буквально упала на плечо. Тело задергалось.

Я уже боялась кричать. Зарыдала. И вдруг я сорвала с себя маску. Тут же мне показалось, что изнутри кто-то сильно сдавливает мою грудную клетку. Я чувствовала себя как рыба, выброшенная на сушу. Открытым ртом я жадно хватала воздух, и мне не хватало его. Я задыхалась и теряла сознание.

Я поняла, что это конец. Поняла и то, что у меня, даже при желании, просто не хватит ни сил, ни умения вновь надеть маску. И вот когда сознание уже оставило меня и я находилась в какой-то глубокой пропасти, где мне было ужасно тесно, я почувствовала прикосновение холодных рук к моему лицу. Я дышала. Все чаще и чаще. Сознание прояснилось. Я приоткрыла глаза и увидела, как Гурген медленно взбирается на кресло. Он действительно взбирался — как на гору. Он лег на подлокотники животом и больше уже не двигался. Я пристально смотрела на него. Хотела уловить хоть малейшие признаки жизни. Но он лежал совершенно неподвижно. И я позвала его:

— Гурген! Гурген-джан!

Он не двигался. Я перевела взгляд на Размика, уставилась на его седую голову. Позвала и его. И мне показалось, что он зашевелился. Я очень обрадовалась этому. От моего крика проснулась дочь и принялась плакать, пытаясь сорвать маску с лица. Я держала ее силой. Вдруг она замолчала и что-то сказала. Маска закрывала все лицо, и потому голос был приглушенным. Я нагнулась к ней:

— Что ты сказала, девочка?

— Я хочу чишик делать.

— Делай, девочка моя, в штанишки.

— В штанишки нельзя, мама.

— Я знаю, Наира-джан. Но сейчас можно.

В ответ она лишь зевнула и вновь заснула. Закрывались и у меня глаза. Но я знала теперь, что это от угара. Я понимала, что нельзя спать, но ничего не могла поделать с собой. Я впадала в забытие. Длилось это довольно долго. Неожиданно придя в себя, я так сильно дернулась, что чуть было не скинула дочь. Меня не покидала мысль, что я могу заснуть и дочь ненароком сорвет с себя маску. Теперь я твердо знала, что не имею права потерять сознание.

Я не могла смотреть в сторону мужчин. Сердце не выдерживало...

Я смотрела на спящую дочь, на треугольную черную маску, которая закрывала ее лицо, и думала о Гургене, о Размике. Чтобы не заснуть, стала ногтями царапать свое лицо. Закрывались глаза, и я царапала веки. Я падала в пропасть и вскоре поднималась оттуда, повторяя имена Размика и Гургена. Я уже сознавала, что если я не выдержу, сдамся, значит, тем самым я оскверню память дорогих моему сердцу людей. Значит, они зря все это сделали.

Я чувствовала, как по лицу течет кровь. Ее я чувствовала, а боли уже не ощущала. Я прижимала к себе дочь и заставляла себя бодрствовать. Не заснула, не потеряла сознание даже тогда, когда все вокруг зашевелилось. Послышался треск, грохот. Потеряла сознание лишь тогда, когда появилось ощущение движения. Самолет поднимался через толщу воды наверх.

Пришла в себя я уже в больнице. Проснулась от звонкого смеха дочери. Она бросилась ко мне, обняла, прижалась. Я ее не отпускала от себя и смотрела по сторонам. Искала глазами... Мне казалось, что рядом еще находятся Размик и Гурген...